

В.В. Шапошникова

## Ноздрев

НОЗДРЕВ — помещик лет тридцати пяти, «среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми как снег зубами и черными как смоль бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его». В подобных лицах есть что-то «открытое, прямое, удалое», в детстве и школе они слывут за хороших товарищей; это говоруны, кутилы, лихачи, народ видный.

С Ноздрев Чичиков познакомился на вечеринке у полицеймейстера, и Ноздрев после трех-четырех слов начал говорить Чичикову «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески, но эти двое, когда все сели играть в большую игру, чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил.

Вторая встреча Чичикова с Ноздрев произошла в трактире, где Ноздрев остановился по пути с ярмарки. Дома он больше дня усидеть не мог; по смерти его жены за двумя детьми присматривала смазливая нянька. Это был человек, который «в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять». «Страстишка к картишкам» приносила и огорчения — иногда Ноздрев был сильно поколачиваем «и возвращался домой <...> иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой». Бакенбарды, однако, вырастали вновь и даже лучше прежних. С приятелями, которые его тузили, он вскоре встречался как ни в чем не бывало. В общем, Ноздрев был «исторический человек» — ни в одном собрании, где он был, не обходилось без «истории» — драки или скандала; иногда же Ноздрев просто сильно «нарежется в буфете» или «проврется самым жестоким образом», причем без всякой нужды, например, что у него была лошадь голубой или розовой шерсти.

«Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. <...> Таковую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходил, тому он скорее всех насаливал: распускал небылицу, глупее которой трудно выдумать; расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: “Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь”. Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. <...> Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно неприличны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком».

В трактире Чичиков видит Ноздрева в простом архалуке, на чужих лошадях, спустившим на ярмарке все — от четырех рысаков до часов с цепочкой и денег зятя; такова же, видимо, и судьба всей выручки от продажи предметов крестьянского труда. Однако ярмарку Ноздрев называет «отличнейшей», потому что замечательно «покутили» — в трех верстах от города стоял драгунский полк, и офицеры выпили все вино в городе; сам Ноздрев, по его словам, выпил за обедом семнадцать бутылок шампанского. В рассказе о ярмарке мелькает штабс-ротмистр Поцелуев, «славный» тем, что бордо

называет «просто бурдашкой»; поручик Кувшинников, «премилый человек», картежник и волокита, не пропускающий и «простых баб». С ярмарки Ноздрев привез и краденого щенка, потому что «ни за самого себя не отдавал хозяин». Чичиков никак не мог отделаться от Ноздрев и в угодность ему и пощупал щенка, и поехал к Ноздреву домой. Зять своего Ноздрев тоже не отпустил, несмотря на его слабое, хотя и многословное сопротивление.

В доме не было заметно приготовления к их приезду. В ожидании обеда Ноздрев показал гостям свое хозяйство и сделал это за два часа. В конюшне Ноздрев божился, что купил гнедого жеребца за десять тысяч, хотя зять уверял, что он не стоит и одной. Показал Ноздрев козла, волчонка; около пруда уверял, что тут водится рыба, которую можно вытащить только вдвоем. Но особую гордость Ноздрева составляли собаки, среди которых Ноздрев был «совершенно как отец среди семейства»; жили собаки в красиво выстроенном маленьком домике с огороженным двором. Осмотрели еще и водяную мельницу с недостающей порхлицей и кузницу. «Вот на этом поле, – сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, – русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги». — «Ну, русака ты не поймаешь рукою!» – заметил зять. «А вот же поймал, нарочно поймал!» – отвечал Ноздрев». Дойдя до границы владений Ноздрева, состоящей из деревянного столбика и узенького рва, гости услышали от хозяина новую декларацию. «Вот граница! – сказал Ноздрев. – Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синееет, и все, что за лесом, все мое». — «Да когда же этот лес сделался твоим? – спросил зять. – Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой». — «Да, я купил его недавно», – отвечал Ноздрев».

В кабинете Ноздрева не было книг или бумаг, висели только сабли и два ружья — одно в триста, а другое в восемьсот рублей (услышав об их стоимости, зять только покачал головой). На турецком кинжале было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков», шарманка перебивала одну мелодию другой. Гостям показаны были различные трубки, демонстрировался кисет, вышитый какой-то графинею, где-то на почтовой станции «влюбившейся в него по уши», ручки этой графини, по словам Ноздрев, были «самой субдительной сюперфлю — слово, вероятно, означавшее у него высочайшую точку совершенства».

Обед, видимо, «не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку <...> словом, катать-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет. Зато Ноздрев налег на вина: еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому гостотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что всё вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принести какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон и шампаньон вместе». Однако Чичиков опасно заметил, что гостям Ноздрев наливал больше, чем себе.

Дав Чичикову честное слово, что исполнит его просьбу (переведет умерших крестьян на имя Чичикова), Ноздрев легко его нарушает, требуя назвать причину желания гостя. Ноздрев, не верит придуманному Чичиковым. «Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве».

Мертвые души он предлагает в придачу к жеребцу, которого должен купить Чичиков; потом к каурой кобыле и серому коню, к собакам, к шарманке. Затем Ноздрев

предлагает поменять шарманку и мертвые души на бричку Чичикова. Играть в карты на мертвые души Чичиков тоже не захотел. За это Ноздрев вновь обругал Чичикова: «Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. <...> Черта лысого получишь! хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть три царства давай, не отдам. Такой шильник, печник гадкий! С этих пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено». За ужином не было затейливых вин, и Ноздрев не захотел пожелать гостю спокойной ночи.

Утром, однако, Ноздрев приветствовал его по-дружески и рассказал Чичикову свой сон — как его высекли штабс-ротмистр Поцелуев с Кувшинниковым.

За завтраком «стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам, или выстриженных под гребенку».

Когда Чичиков согласился играть в шашки на мертвые души, то Ноздрев с самого начала стал выторговывать себе привилегии — два первых хода, например. Наконец, он и тут сжульничал — обшлагом рукава подвинул свою шашку — и Чичиков смешал шашки.

Ноздрев вспыхнул. «Я тебя заставлю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были». Ноздрев уже размахнулся рукой, но Чичиков успел схватить за бияку за обе руки. Тогда Ноздрев в бешенстве стал звать слуг, требовать окончить игру и наконец приказал бить Чичикова, сам порываясь в драку. «Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: “Ребята, вперед!” — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел».

Однако тут он был арестован неожиданно появившимся капитаном-исправником как замешанный в историю «по случаю нанесения помещику Максиму личной обиды розгами в пьяном виде». Несмотря на отчаянный протест Ноздрева, офицер стоял на своем, и Ноздреву пришлось сдаться.

Третья встреча с Чичиковым произошла на балу у губернатора; Ноздрев явился веселый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого уже, вероятно, таскал несколько времени.

Ноздрев, изрядно уже хлебнув рому, немилосердно врал. Увидев Чичикова, он с криком «херсонский помещик!» подошел к нему. Щеки его, свежие, румяные, дрожали от смеха. Ни на что не обращая внимания, Ноздрев несет полупьяную околесицу. «Уж ты, брат, ты, ты... я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно, у тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор? <...> если бы <...> сказали: “Ноздрев! скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков?” — скажу: “Чичиков”, ей-богу... Позволь, душа, я тебе влеплю один безе. Да, Чичиков, уж ты не противься, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!»

Слова Ноздрева имели для Чичикова самые неблагоприятные последствия, его перестали принимать, но это не помешало Ноздреву явиться в гостиницу к Чичикову со словами «Для друга семь верст не околица». Он ведет себя очень уверенно и раскованно — намеревается пить чай, думает выкурить трубку и не верит, что Чичиков не «куряка», что слуга у него не Вахрамей; и снова полились бессвязные речи Ноздрева: «Да что ты, брат, так отдалился от всех, нигде не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занят

---

иногда учеными предметами, любишь читать (уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать, этого, признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичиков и того менее). Ах, брат Чичиков, если бы только увидал... вот уж точно, была бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова был сатирический ум, это тоже неизвестно). <...> Ах да! я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя; они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки, пристали ко мне, да я за тебя горой, наговорил им, что с тобой учился и отца знал; ну и, уж нечего говорить, слил им пулю порядочную».

Затем изумленный Чичиков узнает от Ноздрева, что он, Чичиков, собирался увезти губернаторскую дочку (Ноздрев, правда, не одобрил его выбора), потом Ноздрев начал пенять Чичикову, что тот не хочет ему раскрыть свои планы. «Ну, полно, брат, экой скрытный человек! Я, признаюсь, к тебе с тем пришел: изволь, я готов тебе помогать. Так и быть: поддержку венец тебе, коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором: ты должен мне дать три тысячи займы. Нужны, брат, хоть зарежь!»